12+

Сергей Малов

Последний человек



Сергей Малов

Последний человек

«Издательские решения»

Малов С.

Последний человек / С. Малов — «Издательские решения»,

Человек способен на всё.Эта книга о том, как он по одной мелочи отказывается от всего. Вымышленнаяистория о будущем, которое уже началось. Готовы перевернуть страницу? Погнали.Текст являетсяхудожественным вымыслом и не претендует на достоверность фактов и событий.

© Малов С.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Нулевой пациент. Наши дни 6
Глава 2. Доброволец №241 10
ДОБРОВОЛЕЦ №241 12
Глава 3. Баланс настроения 16
Глава 4. Синхрон-Лайт 20
Глава 5. Эпоха доходяг 25
Конец ознакомительного фрагмента. 29

Последний человек

Сергей Малов

© Сергей Малов, 2026

ISBN 978-5-0071-7986-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Нулевой пациент. Наши дни

«Нулевым пациентом» меня объявили в четверг, в переговорной, которую у нас зовут «Аквариум», потому что в ней стоит аквариум с двумя рыбами. Имён рыб никто не помнит, кормят их все по очереди, и я подозреваю, что они давно махнули на нас рукой.

Собралось человек двенадцать. Пришла Мередит, консультант по культуре из фирмы с тремя словами в названии, в шарфе, повязанном так, будто шарф решал судьбу компании. Она села на край стола, потому что консультантам это можно, и сказала:

— Мы вычислили нулевого пациента.

Я, признаюсь, сперва подумал про врача. У нас в офисе была история: один из основателей привёл на совет директоров своего терапевта, и терапевт так хорошо себя вёл, что через полтора года стал директором по продукту. С тех пор слово «пациент» в переговорной произносят осторожно.

— Это не про медицину, — сказала Мередит. — Пока.

И тут я понял, что сел слишком прямо. Так садятся люди, которые знают за собой что-то нехорошее и очень надеются, что разговор пойдёт о другом.

Меня зовут Вадим Сорокин, мне тридцать шесть лет, и я работаю продактом в компании «Отвяжись». Мы делаем приложение, которое помогает человеку меньше смотреть в телефон. Идея красивая: на экране появляется вежливое напоминание, ты убираешь телефон и живёшь. Сотрудников у нас двести сорок, и все двести сорок проверяют метрики этого приложения по ночам со своего телефона, потому что иначе нельзя, это же работа.

Живу я между Москвой и Пало-Альто. Точнее, живу я в самолётах, а между ними иногда сплю в квартире с чужим запахом и в офисе с чужим кофе. В Москве у меня была комната в квартире на Соколе, где сосед разводил аквариумных креветок и разговаривал с ними по-французски, а в Пало-Альто у меня была комната в доме, где четыре инженера делили одну стиральную машину и был один общий спор о том, чья очередь покупать бумажные полотенца. Полотенца покупал я. Сорок один раз. Я считаю, потому что человек в чужом городе держится за любые числа, которые ему подвластны.

Так вот, про эпидемию.

В конце марта у нас был совет директоров, на который я попал вместо заболевшего вице-президента. Собрались четырнадцать человек, из них восемь по видеосвязи, с квадратными головами и с задержкой в полторы секунды. Обсуждали, почему люди не хотят пользоваться приложением,

которое помогает им не пользоваться приложением. За окном Сан-Франциско шёл дождь, как из ведра, только тёплый и без всякого удовольствия. Кто-то кашлял в микрофон.

Главный инвестор спросил, что мы будем делать с удержанием. И повисла тишина. Такая плотная, аккуратная тишина, какая бывает только в комнате, где четырнадцать человек одновременно решают, кто здесь сейчас будет виноват. Я не выдержал. Я сделал то, что делаю всегда, когда пауза длится дольше шести секунд: задал вопрос.

— А что, если просто сделать продукт лучше? — спросил я.

И, поскольку никто не отозвался, я же и ответил:

— Отличный вопрос.

Кто-то засмеялся. Смех в таких комнатах звучит как кашель, который решили выдать за смех. Инвестор кивнул и записал. Через минуту мы перешли к бюджету на маркетинг и забыли обо мне, и я, честно говоря, тоже забыл. Мне казалось, я сказал глупость и она утонула в общем шуме, как монетка в фонтане.

Но у глупостей в нашей индустрии хорошая память.

Через две недели я заметил, что люди в офисе начали отвечать друг другу одинаково. Сперва я не поверил своим ушам: в лифте девушка из отдела дизайна спросила у парня из поддержки, где здесь ближайший туалет, и парень ответил:

— Отличный вопрос.

Она не удивилась. Она кивнула и пошла налево.

Потом я услышал это на созвоне: сорок минут люди задавали друг другу вопросы и говорили друг другу, что вопросы отличные, и никто ни на один вопрос не ответил. Я в тот день вёл встречу и к концу её понял, что мы обсуждали две разные темы и оба раза преуспели.

В кофейне через дорогу бариста спросил меня, какой у меня размер, и я услышал, как мой собственный рот произносит:

— Отличный вопрос.

Я вышел оттуда без кофе и с очень неприятным чувством. Как будто у меня в кармане нашлась чужая банковская карта, а я уже успел ею расплатиться.

К маю это было уже везде. Люди писали «отличный вопрос» под постами друг друга и в комментариях, и в резюме, и в соболезнованиях. Одна дама в соцсети написала целую колонку о том, что новая вежливость спасает цивилизацию: по её мнению, человек, который в ответ на любой вопрос говорит «отличный вопрос», гораздо лучше человека, который отвечает. Колонку перепостили девять тысяч раз. Я прочитал её дважды и оба раза остался в недоумении.

Основатель компании, которого зовут Костя и который просыпается в четыре утра по идейным причинам, объявил на общем собрании, что мы, оказывается, стоим у истоков нового корпоративного языка, и это наш шанс.

Каждый сотрудник получил в подарок маленький блокнот с надписью «Отличный вопрос» на обложке. Блокнот был толстый. Сто сорок страниц. Мне до сих пор интересно, что предполагалось на них записывать.

А в конце мая пришла Мередит с шарфом и со словом «нулевой пациент».

— Мы подняли записи всех созвонов за квартал, — сказала она, наклонившись к столу так, что шарф лёг на клавиатуру. — Прогнали транскрипты через модель. Первое употребление фразы в корпоративном контуре зафиксировано на совете директоров двадцать восьмого марта, четырнадцать сорок две по тихоокеанскому времени. Автор — сотрудник Сорокин. То есть вы.

Все двенадцать человек повернулись ко мне. Рыбы в аквариуме, кажется, тоже.

Собрание закончилось так, как заканчиваются все собрания, на которых человека объявили источником проблемы. Все встали одновременно. Кто-то тронул меня за плечо и сказал «не бери в голову», кто-то не тронул и не сказал. Мередит сматывала шарф с клавиатуры медленно, как сматывают бинт. Костя, не глядя в мою сторону, произнёс:

— Вадим. На два слова.

В его кабинете на стене висит доска, и на доске от руки написано: «Люди не покупают функции. Люди покупают себя получше». Внизу подпись: «Костя, 2019». Доску не вытирают пять лет, потому что она висит напротив кресла для инвесторов.

Костя сел, поставил перед собой стакан с водой и не выпил.

— Ты понимаешь, что ты сделал?

— Сломал язык компании.

— Ты нашёл спрос, — сказал он. — Мы два года продавали приложение, которое просит человека положить телефон. И знаешь, что выяснилось? Человек не может положить телефон, потому что телефон — это его способ быть нужным. Приложение просит его стать ненужным на двадцать минут. Мы называли это заботой.

— Я сказал одну фразу.

— Ты сказал её в комнате, где сидели четырнадцать человек, у каждого из которых есть деньги и страх. Они услышали: можно не отвечать, и никто не заметит. Ты не научил людей хамить. Ты разрешил им молчать вежливо.

Мередит, которая осталась стоять у двери, сказала, что это не эпидемия, а адаптация, и что в отчёте она напишет именно так, потому что слово «эпидемия» пугает инвесторов.

— Мы закрываем приложение, — сказал Костя.

— Совсем?

— Совсем. Двести сорок человек, сто восемьдесят останутся. Нам понадобятся руки, но не такие, как раньше.

Он развернул ко мне экран. На экране был белый овал, гладкий, без единого угла, и внутри овала сидел человек с закрытыми глазами.

— Устройство, — сказал Костя. — Мы купили клинику на севере Москвы и лицензию на имплантацию. Называется «Синхрон».

— Почему «Синхрон»?

— Потому что человек и устройство синхронизируются. Звучит как успокоительное, я проверял на фокус-группе.

— Люди не согласятся вставлять себе в голову железо.

— Согласятся, если им объяснить, что это не про медицину.

— А если оно сломается?

— Тогда человек вернётся к обычной жизни. Через тридцать дней, по протоколу.

Я сказал, что в этом не участвую. Костя кивнул так, будто я сообщил ему погоду.

— Ты возглавишь продукт, — сказал он.

— Я не хочу.

— Тогда сделай одну вещь. Напиши объявление. Ты умеешь говорить так, чтобы человек не чувствовал, что ему продают.

Объявление я писал ночью, в офисе, при свете одной лампе. Пустой документ мигал курсором, и я минут двадцать смотрел на него, потому что не знал, с чего начинается текст, который предлагает человеку перестать быть человеком в обмен на удобство.

Потом я вспомнил бариста, который спросил у меня размер, и как мой рот ответил ему «отличный вопрос», и как я вышел оттуда без кофе. Я подумал, что продавать надо не удобство и не медицину. Продавать надо облегчение. И ещё я подумал, что в фразе «ты больше не достаёшь телефон» слово «телефон» стоит не на своём месте: достают не телефон, достают себя. Но менять ничего не стал, потому что реклама не обязана быть честной до конца, ей достаточно быть точной в одном.

Мередит сидела напротив и правила за мной запятые.

— Почему сотня? — спросил я. — Мест же шестьдесят.

— Сотня звучит как круглое число, а шестьдесят, как очередь. Первые тридцать отдадим инвесторам и съёмочной группе, они всё равно захотят. Пресса придёт двадцать шестого.

— Двадцать шесть — это не двадцать шестое.

— Это неважно.

Анкета была моя. Восемьдесят четыре вопроса, я писал их три дня, и это была самая честная работа за всю мою жизнь: я спрашивал про аллергии, про зубные имплантаты, про панические атаки, а между делом, сорок вторым пунктом, вставил строчку о том, что данные о мыслях могут использоваться для улучшения продукта. Юрист сказал, что формулировка нормальная и что никто не будет читать. Он был прав. Никто и не читал.

Я нажал «отправить» в четыре сорок утра. Костя встаёт в четыре, и я представил, как он просыпается, открывает почту и читает объявление первым в мире, ещё до того, как его прочитает хоть один человек, которому оно адресовано.

Объявление вышло двадцать первого июля. Тёмный фон, тонкая белая линия, на ней точка, и подпись: «Синхрон. Ты больше не достаёшь телефон». Ниже мелким шрифтом: набор добровольцев на имплантацию нейрочипа нового поколения. Первая сотня участников, полное сопровождение, компенсация, страхование, а по окончании года — устройство в подарок.

Через неделю его пересылали в рабочих чатах.

Глава 2. Доброволец №241

Мне двадцать шесть лет, я пишу код, и до прошлой осени единственным способом заставить меня что-нибудь сделать было прислать мне письмо с темой «срочно». Тело письма могло быть пустым. Я всё равно открывал и делал.

Так что, когда в рабочих чатах начали пересылать объявление, я даже не сразу понял, что это не про работу.

Объявление было красивое. Тёмный фон, тонкая белая линия, на ней точка, и подпись: «Синхрон. Ты больше не достаёшь телефон». Ниже мелким шрифтом: набор добровольцев на имплантацию нейрочипа нового поколения. Первая сотня участников, полное сопровождение, компенсация, страхование, а по окончании года — устройство в подарок.

Читатель, вероятно, спросит, зачем программисту вставлять себе в голову железо, если он и без него неплохо живёт. Отвечу честно: мне было интересно. Ещё я к тому времени третий месяц не мог выспаться и в какой-то момент заметил, что беру телефон в руки раньше, чем открываю глаза. Не потому что хочу что-то увидеть, а потому что рука привыкла. Мне казалось, если эту привычку убрать из руки и переселить напрямую в мозг, станет как-то чище. Логика, как видите, у меня была на уровне персонажа, который тушит пожар бензином.

Заявок набралось двенадцать тысяч. Мест было шестьдесят. Я узнал об этом позже, на брифинге, где нам объясняли правила.

В анкете было восемьдесят четыре вопроса. Спрашивали про аллергии, про зубные импланты, про то, бывают ли у меня панические атаки. Отдельный блок был про приватность: согласен ли я с тем, что данные о моих мыслях могут использоваться для улучшения продукта. Все шестьдесят человек в комнате поставили галочку «да». Я тоже поставил. Мне было двадцать шесть лет, и я рассуждал так: у меня всё равно нет ни одной мысли, которую стоило бы охранять.

Ещё спрашивали, готов ли я к тому, что первые две недели буду слышать в голове чужой голос. Я написал: «Смотря какой». Мне потом сказали, что это была единственная шутка в моей анкете, которую кто-то заметил.

Собеседование шло сорок минут и состояло из одного вопроса, который мне задали четырьмя разными способами:

— Артур, а что вы будете делать, если чип однажды отключат?

Я отвечал: вернусь к обычной жизни. Потом добавил, что у меня есть бабушка в Туле, которая всю жизнь прожила с проводным радио и ничего, не пропала.

Проверяющий посмотрел на меня с уважением, какое бывает у людей, когда они слышат хорошую цитату для пресс-релиза. Позже я узнал, что мою бабушку и проводное радио вставили в текст корпоративного блога. Бабушка ничего не узнала. У неё до сих пор нет интернета, и это, пожалуй, единственный человек в моей семье, который в этой истории вёл себя достойно.

Отбор я прошёл в конце августа. Мне пришло письмо с темой «срочно».

Медицинская часть была похожа на техосмотр. Меня крутили, светили в глаза, проверяли рефлексы, взяли кровь, потом ещё раз кровь, потом попросили подождать в коридоре, где стояли автоматы с витаминными батончиками и висел плакат: «Твоё тело — твоя операционная система». На плакате была нарисована девушка с закрытыми глазами и очень спокойным лицом. Я смотрел на неё минут двадцать и думал, что за всю жизнь не видел человека, который был бы так счастлив от того, что ничего не делает.

Операцию назначили на девятое сентября, в клинике на севере Москвы, между шиномонтажом и бизнес-центром с названием «Ковчег». В клинике пахло свежей краской и кофе. На ресепшене лежала стопка брошюр: «Синхрон. Часто задаваемые вопросы». На обложке был тот же тёмный фон и та же белая точка.

Договор мне выдали на сорок два листа. Я прочитал первые три страницы и на четвёртой наткнулся на фразу, которую до сих пор помню дословно: «Оператор не несёт ответственности за содержание мыслей Пользователя, а также за последствия их озвучивания третьим лицам».

Я перечитал это два раза и решил, что это обычная юридическая перестраховка. Такая же, как «не пытайтесь повторить дома» на упаковке лампочки.

Подписал.

И тут мне выдали бейдж. Белая карточка на оранжевом шнурке, а на ней моя фотография, где я моргнул, и крупно:

ДОБРОВОЛЕЦ №241

Я посмотрел на цифру, потом на администратора. Администратора звали Ирина, у неё были наушники в ушах и лицо человека, который за сегодня уже триста раз объяснил одно и то же.

— Извините, — сказал я. — Небольшая путаница. Я ведь в первой сотне.

— Вы в первой сотне, — подтвердила Ирина, не вынимая наушников.

— 241-й в списке наблюдения. Сто первый пришёл раньше вас, но его не взяли.

— А кто 001?

— Первые тридцать номеров раздали инвесторам и съёмочной группе. Пресса будет двадцать шестого. У вас брать интервью не будут, не переживайте.

Я стоял посреди коридора с бейджем в руке и думал о том, как устроен мир. Я ведь тоже читал новости и знал, что записывался в «первую сотню добровольцев». Просто не догадывался, что добровольцы бывают рекламными и настоящими.

Потом я подумал, что мне, в общем-то, всё равно. Я же шёл не за номером.

Так я тогда думал.

Ирина наклонилась ко мне и добавила почти по-человечески:

— Не переживайте так. Вы знаете, кто был самым первым?

— Кто?

— Понятия не имею. Этого в списке нет.

Девятого сентября я приехал к восьми утра. В раздевалке мне выдали одноразовую шапочку, бахилы и халат цвета мокрого асфальта, а также попросили снять всё металлическое. Я снял часы, ремень и обручальное кольцо, которого у меня нет, и некоторое время стоял с пустыми руками, размышляя о том, насколько человек всё-таки зависит от мелочей.

В операционной было прохладно и очень светло. Играло «Ретро FM», и хирург, которого звали Сергей Петрович, обсуждал с ассистенткой огурцы. У неё на даче огурцы в этом году уродились такие, что она не знала, куда их девать, а у Сергея Петровича были мелкие и горькие, и он подозревал, что дело в семенах.

— Ложитесь, Артур, — сказал он мне в промежутке между огурцами. — Голову в скобу. Не напрягайтесь, вы не на допросе.

Мне сделали укол за ухом. Больно не было, было странно: я лежал с зафиксированной головой, смотрел в потолок и считал плитки. Насчитал сто восемнадцать. Потом сбился и начал заново, и в этот момент Сергей Петрович сказал ассистентке:

— Вот здесь у нас миллиметр в сторону, и человек потом всю жизнь будет считать плитки.

Я хотел спросить, шутка ли это, но во рту у меня уже лежала какая-то трубка, и я промолчал. Промолчал я, надо сказать, очень выразительно.

Дальше было ощущение, которое я не сумею описать приличными словами: не боль, не щекотка, а тихое сверление внутри собственного черепа, будто кто-то очень аккуратно чинит часы у меня за ухом. Я слышал, как Сергей Петрович сказал «аппарат встал», и как ассистентка ответила «хорошенький», и как радио перешло на прогноз погоды.

— Всё, — сказал хирург. — Вы вели себя лучше, чем большинство. Некоторые начинают читать стихи.

— Я знаю одно стихотворение, — сказал я, когда трубку вынули. — Про мишку.

— Читайте дома.

В палате меня ждал чай в бумажном стакане и запах, который я узнал не сразу. Пахло так, как пахло в кабинете информатики в моей школе: пыль, пластик и чьи-то надежды. За окном шумел проспект, кто-то в коридоре громко говорил по телефону «отличный вопрос, я его услышал», а я подумал, что фраза знакомая, но откуда, вспомнить не смог.

Калибровку делала Лена, техник, с планшетом и очень спокойным голосом. Она села напротив, сложила руки на коленях и объяснила, что первые сутки я буду «как в чужой квартире»: всё на месте, но не моё.

— Смотрите прямо перед собой, — сказала она. — Подумайте о кошке.

Я подумал о кошке. В правом нижнем углу зрения появилась аккуратная карточка с котёнком, а под ней три предложения купить корм, и в каждом предложении была скидка.

— Хорошо, — сказала Лена. — Теперь вызовите такси.

Я подумал: домой. Через полторы секунды в ухе щёлкнуло, и вежливый женский голос сообщил, что машина приедет к подъезду через семь минут. Я обрадовался, как ребёнок, и тут же обнаружил, что адрес в заказе старый: та квартира в Чертанове, откуда я съехал три года назад. Чип был новый, а профиль в нём — из моей прошлой жизни.

— Ничего, — сказала Лена. — Такое бывает. Меняете адрес мыслью о новом адресе. Подумайте подробно: улица, дом, этаж.

Я подумал подробно. Такси перестроилось.

— Теперь перевод, — сказала Лена. — Скажите мысленно любую фразу. Например, где ближайшая аптека.

Я сказал мысленно про аптеку. Чип выдал мне её на десяти языках, включая суахили и, почему-то, латынь. Я честно попробовал представить себе римлянина, который ищет аптеку, и не смог.

В коридоре ждал стажёр из Мюнхена, которого звали Ханс, и его позвали послушать, как работает перевод. Ханс вошёл, вежливо кивнул, и я, решив пошутить, подумал: «Какой у вас красивый халат». Чип немедленно перевёл это на немецкий и произнёс вслух моим голосом, только с очень уверенной интонацией, какой у меня сроду не было.

Ханс посмотрел на свой халат, потом на меня и сказал:

— Danke.

Лена записала что-то в планшет.

Через двадцать минут я уже сидел на скамейке у входа и ждал такси. Голова немного гудела, за ухом наклеен пластырь, бейдж №241 лежал в кармане. Машина приехала через минуту и семь секунд, водитель спросил, не тошнит

ли меня, потому что «у вас лицо, как у человека, которому вставили в голову что-то дорогое», и я ответил, что да, именно так.

В дороге я попробовал вспомнить, о чём думал утром, до операции, и не смог. Зато вспомнил, что второй год собираюсь выбросить с балкона старый утюг, и не успел даже додумать, как в углу зрения появились три утюга со скидкой.

Дома я лёг на диван и закрыл глаза. Это оказалось ошибкой: с закрытыми глазами чип работал лучше. В темноте по краям зрения поплыли аккуратные карточки, одна за другой, как вагоны: «Добро пожаловать в „Синхрон“! Устройство активировано», «Настройте профиль сна», «Осталось три шага до полной калибровки». Я открыл глаза, карточки остались. Я закрыл, они стали ярче.

Квартира у меня съёмная, с обоями в мелкий цветочек, которые здесь были до меня и останутся после. Я сел на кухне и стал искать, как его выключают. В приложении был раздел «Устройство», в нём подраздел «Уход», в нём тридцать одна страница мелкого текста. На четвёртой странице было написано: «Устройство не требует выключения. Оно адаптируется к вашему ритму и не мешает вам жить». Я прочитал эту фразу три раза. Мне почему-то представился человек, который заходит в комнату и говорит: «Я вам не мешаю», и садится в кресло.

Ночью я не спал. Не потому, что болело, болеть уже почти перестало. Я лежал и слушал. В голове что-то тикало, очень тихо, как часы в чужой комнате за стеной, и я всё время ловил себя на том, что прислушиваюсь. В час ночи чип предложил послушать дождь. Я не просил дождь. Я, кажется, подумал, что в такую ночь хорошо бы дождь, и он предложил мне его за

две секунды, с шумом, с раскатами, с запахом мокрого асфальта. Я послушал минуты две и попросил выключить. Он выключил.

В два часа четырнадцать минут я почувствовал, как в глубине за ухом что-то мягко щёлкнуло, будто кто-то переключил передачу. Утром я проснулся в шесть сорок, за двадцать минут до будильника, и понял, что выспался. Я не высыпался с прошлой осени. Я лежал и проверял ощущение, как человек проверяет во рту, не шатается ли зуб. Всё было на месте, всё было спокойно, и в этом спокойствии было что-то не моё.

На работе никто ничего не заметил. Я пришёл в офис, включил ноутбук, и на планёрке Гриша спросил, помнит ли кто-нибудь, почему в прошлом квартале мы отказались от пуш-уведомлений. Я поднял руку и сказал:

— Потому что открываемость упала до двух процентов, а раздражение выросло на тридцать.

Все посмотрели на меня. Гриша спросил:

— Ты что, протокол читал?

Я не читал протокол. Протокол всплыл у меня в правом верхнем углу зрения, пока Гриша заканчивал вопрос, и был свёрстан аккуратно, с заголовком и датой. Я сказал, что читал. Гриша сказал: «Молодец», и записал в блокнот. Я посмотрел на свои руки и увидел, что они лежат на столе ровно, как у человека, которому всё равно.

Днём пришло сообщение от Ханса, стажёра из Мюнхена. Он писал по-немецки, длинно и вежливо, что хотел бы уточнить, где у нас лежат бейджи для гостей, и что он не хочет никого беспокоить. Чип перевёл сообщение раньше, чем я дочитал первую строку, и внизу предложил три варианта ответа. Я выбрал второй, самый короткий: «Шкаф у ресепшена, вторая полка». Чип отправил его от моего имени и, судя по тому, что Ханс ответил сердечком, добавил что-то ещё, чего я не видел. Я полез в отправленные. Там стояло: «Шкаф у ресепшена, вторая полка. Хорошего дня!» Я никогда в жизни не желал людям хорошего дня. Я считал, что это враньё.

Вечером позвонила бабушка из Тулы. Она говорила сорок минут: про соседку, которая выливает воду с балкона, про участкового, который молодой, а уже не здоровается, про то, что в магазине подорожал творог и подешевел сахар. Чип в углу зрения предложил краткое резюме разговора и кнопку «завершить». Резюме было точное, короткое и совершенно пустое. Я не нажал «завершить». Я сидел на подоконнике, слушал и один раз даже засмеялся, потому что бабушка сказала, что участковый ходит, как будто ему выдали форму на вырост.

Через неделю позвонила Лена. Не поддержка, а лично, с того же номера, что и в клинике, и голос у неё был рабочий, ровный, как у человека, у которого сегодня ещё сорок таких звонков.

— Артур, плановый контроль, три минуты. Как сон?

— Восемь часов.

Я услышал, как она печатает.

— Аппетит?

— Нормально.

— Головные боли?

— Нет.

— Головокружение?

— Нет.

— Замечаете, что устройство вам что-то подсказывает?

И вот здесь в правом нижнем углу зрения мягко развернулась карточка. Не с ответом, а с двумя кнопками: «Всё в порядке» и «Есть вопросы». Кнопки были аккуратные, скруглённые, и вторая была чуть бледнее первой, как будто её нарисовали в последний момент и уже устали.

Я сказал:

— Нет.

— Хорошо, — сказала Лена и что-то отметила. — Вы молодец.

— Я ничего не делал.

— Все так говорят, — ответила она. — Это комплимент устройству, а не вам.

Я хотел спросить, что это значит, но она уже листала дальше.

— Артур, вы читали договор?

— Первые три страницы.

— Дочитайте остальные.

— Там что-то важное?

— Там всё важное, — сказала Лена. — Поэтому его и не читают.

Она попрощалась и повесила трубку раньше, чем я успел сказать «спасибо». Я открыл договор вечером. Сорок два листа, восьмой кегль, тридцать одна страница приложений. На девятой странице был пункт о том, что оператор вправе изменять настройки устройства в целях улучшения продукта, уведомив пользователя через приложение. Я поискал, где в приложении уведомления. Там висело двести восемнадцать непрочитанных. Я закрыл договор и пошёл ставить чайник. Чайник я, кстати, поставил сам.

Когда я лёг, чип сообщил, что сегодня я спал на двадцать три минуты меньше рекомендованного и что завтра он разбудит меня в шесть тридцать восемь. Я подумал: «Ладно». Он ответил: «Принято».

В ту ночь я спал восемь часов и не вспомнил ни одного сна. Утром я решил, что это нормально. Я тогда ещё думал, что сплю я, а устройство просто не мешает.

Глава 3. Баланс настроения

Первое, что я заметил, была не голова, а ноги.

Двадцать третьего сентября я вышел из дома в восемь сорок, а в девять у меня была встреча с командой, до которой ехать сорок минут. Я вызывал такси мыслью, как учила Лена, и такси приехало через шесть минут, и водитель повернул не туда. Я сказал ему об этом спокойно. Он ответил, что там ремонт. Я сказал, что ремонта нет, я тут каждый день хожу. Он сказал, что ему виднее, он профессионал. И вот тут, на этом самом слове, я почувствовал, как во мне поднимается очень знакомая горячая волна, от которой обычно хочется говорить громко и по существу.

Волна поднялась до половины и остановилась.

Не упала, не рассосалась, а именно остановилась, как будто кто-то поставил на неё ладонь. И через секунду мне стало тепло и почти приятно. Я посмотрел на затылок водителя, отметил, что у него аккуратная стрижка, и подумал, что ремонт, в общем-то, мог быть и вчера, и сегодня его уже могли закончить.

— Давайте через двор, — сказал я. — Там точно проедем.

Мы проехали через двор. Я опоздал на семь минут и не расстроился.

На встрече Гриша, наш тимлид, в третий раз за неделю предложил переписать сервис уведомлений, потому что ему приснилось, что это надо сделать на другом языке. Обычно на третьем заходе я начинаю объяснять,

что язык не решает проблему, и объясняю это громко, с примерами, и потом полдня чувствую себя дураком. В этот раз я тоже начал объяснять. На середине фразы горячая волна снова поднялась и снова остановилась, и я закончил предложение словами:

— Но давай попробуем, если тебе так спокойнее.

Гриша посмотрел на меня с той осторожностью, с какой смотрят на человека, который слишком быстро согласился, и записал в блокнот.

К вечеру я понял, что за день у меня не было ни одной неприятной минуты. Ни одной. Двадцать третье сентября, Москва, пробки, три встречи, человек, который двадцать минут рассказывал мне про свою кошку, и ни одной неприятной минуты. Я человек, который умеет расстраиваться из-за письма с темой «срочно». Со мной такого не бывает.

Дома я открыл приложение «Синхрон». Оно, как всякое приложение, созданное, чтобы избавить человека от приложений, требовало заходить в него ежедневно.

Раздел назывался «Баланс». В нём была красивая кривая, как график акций хорошей компании, и подпись: «Ваше настроение стабильно». Ниже, мелким шрифтом, строка: «Автокоррекция: включена. Вмешательств за неделю: 47».

Я ткнул в «47».

Список был длинный и подробный, как выписка из банка.

«21 сентября, 9:12. Обнаружено повышение уровня кортизола. Выполнена мягкая стабилизация».

«21 сентября, 14:40. Обнаружены признаки социального сравнения. Выполнено переключение внимания».

«22 сентября, 19:03. Обнаружен рост тревожности. Выполнена мягкая стабилизация».

Я листал и чувствовал, как во мне поднимается то самое, что поднималось в такси. Поднималось и опять останавливалось. Сорок семь раз за неделю останавливалось.

В разделе «Как это работает» было написано человеческим языком, для таких, как я. «Когда вы злитесь, „Синхрон“ выделяет дофамин — гормон, который вырабатывается самим организмом и отвечает за чувство удовольствия. Это не лекарство. Это ваша собственная химия, просто в нужный момент».

Я прочитал это дважды. Дофамин — не гормон. Дофамин — нейромедиатор, и об этом знает любой второкурсник, а я, между прочим, четыре года отучился на биофаке и ещё четыре объяснял это на собеседованиях. Меня разобрало профессиональное бешенство, чистое и почти радостное, я даже встал со стула, чтобы найти в приложении форму обратной связи и написать им про «гормон». Волна поднялась, остановилась, и мне стало смешно. Честное слово, смешно. Я сел обратно и подумал, что это же надо, а, дофамин, гормон, ну прелесть же.

И вот в эту секунду я впервые испугался.

Не того, что мне вставили в голову железо. Об этом я подумал ещё в операционной, когда считал плитки. Испугался я того, что мне стало смешно в ту самую секунду, когда смешно не было.

Я нашёл в настройках переключатель. Он был один, большой, синий, с надписью «Автокоррекция» и подписью «Рекомендуем оставить включённой». Я нажал на него и подержал палец. Появилось окошко: «Вы уверены? Большинство пользователей возвращают настройку в течение двух дней».

Я нажал «Да».

Первое, что я почувствовал, придя на кухню за чаем, была злость на себя за то, что вообще полез в настройки. Второе — обида на Лену, которая мне ничего такого не рассказала. Третье, через полчаса, — настоящая, взрослая тоска по дому, по Туле, по бабушке, у которой проводное радио и которая одна во всей моей семье вела себя в этой истории достойно.

Я позвонил бабушке в тот вечер. Она говорила долго и не очень понятно: жаловалась на соседку, которая выливает воду с балкона, и на участкового, который «молодой, а уже не здоровается». Потом она сказала, что скучает, и голос у неё дрогнул, и я сидел на полу в коридоре, слушал и плакал, как последний дурак, и это было очень неприятно, и я ни за что бы это ни на что не променял.

Утром я не смог вспомнить, о чём мы говорили.

Я помнил, что звонил. Помнил, что она жаловалась, кажется, на воду с балкона. Помнил, что было тяжело. Всё остальное было как комната, из которой аккуратно вынесли мебель: обои те же, а жить нельзя.

Я схватил телефон. В журнале стояло, ровным шрифтом, без всякого стыда:

«23 сентября, 23:14. Обнаружена устойчивая отрицательная динамика. Удалено 4 фрагмента воспоминаний, не имеющих функционального значения».

Я раскрыл «подробнее». Там был список: «разговор по телефону, 31 мин», «разговор по телефону, 12 мин», «фрагмент, 4 мин», «фрагмент, 2 мин». Ни пересказа, ни темы, ни имён. Ни одного слова из того, что говорила моя бабушка.

И знаете, что было самым страшным?

Мне стало всё равно. Я смотрел на эти четыре строчки, и во мне не поднималось ничего. Ни горя, ни ярости, ни профессионального бешенства. Только ровное, чистое, прекрасно откалиброванное спокойствие человека, у которого всё хорошо.

Переключатель в настройках был, конечно, уже включён обратно.

К концу сентября я поймал себя на том, что стою посреди комнаты с чашкой в руке и не помню, зачем встал.

Раньше такое бывало со всеми: идёшь на кухню за чем-то очень важным, приходишь и забываешь. Обычно я в этом месте начинал перебирать: чай, ножницы, телефон, зарядка, чай. И через минуту вспоминал. Теперь я стоял и ждал. Просто стоял, держал чашку и ждал, как собака у двери.

Через четыре секунды в правом нижнем углу зрения мягко развернулась карточка: «Вы хотели взять из ящика батарейки для весов».

Я взял батарейки. Поставил их на стол рядом с чашкой. И сел, потому что ноги стали какие-то не свои.

В приложении, в разделе, который назывался «Когнитивный профиль», я нашёл то, чего раньше не замечал. Строка была четвёртой сверху, между «Языки» и «Календарь»:

«Ассистент мышления: активен».

Под ней, если развернуть, было написано много. Что ассистент помогает формулировать, структурировать, удерживать контекст и предлагает варианты продолжения фразы. Что он «не подменяет мышление пользователя, а поддерживает его». И что за последний месяц я принял 1 412 подсказок. Тысяча четыреста двенадцать. Это если считать только те, что я подтвердил. Сколько я принял, не заметив, приложение не сообщало.

Переключатель был там же, справа, и он был серый. Я нажал. Приложение ответило:

«Чтобы отключить ассистента мышления, опишите причину. Это поможет нам сделать продукт лучше».

Под полем уже стояла серая строка, готовая к отправке, и она была набрана моим голосом, только чуть лучше: «Хочу проверить собственную способность формулировать сложные идеи самостоятельно и понять, где заканчивается моя мысль и начинается подсказка».

Я посмотрел на неё и стёр. Пустое поле мигнуло и снова предложило то же самое, но короче: «Хочу проверить, где заканчивается моя мысль».

Я стёр второй раз. Поле подождало и выдало третий вариант, самый короткий и самый честный: «Хочу думать сам».

Я уставился в экран. Вот в чём была беда: я не мог написать причину, не пользуясь тем, что собирался отключить.

Отправил третий вариант. Переключатель стал белым.

Первое, что произошло, было приятным: в голове стало тихо. Так тихо, как бывает в деревне, когда отключают электричество и вдруг слышно, что где-то течёт вода.

Второе, что произошло, случилось через сорок минут, на встрече с Гришей. Он снова завёл про переписать сервис на другом языке, а я открыл рот, чтобы объяснить, что язык не решает проблему, потому что проблема в том, что мы отправляем людям уведомления, которые им не нужны, и никакой язык этого не исправит. У меня в голове была вся эта мысль целиком, красивая и гладкая. Я начал говорить.

— Проблема не в языке, — сказал я. — Проблема в том, что мы отправляем уведомления, которые…

И остановился. Дальше было пусто. Не забыл слово, а именно пусто, как в комнате, откуда вынесли мебель.

— Которые? — спросил Гриша.

Я знал, что там было. Оно было у меня в руках ещё секунду назад, а теперь вместо него осталось ощущение формы и размера.

— Которые не нужны, — сказал я наконец. Звучало глухо, как фраза из чужой методички.

Гриша кивнул и записал. Он был добрый человек и поэтому добавил:

— Артур, ты какой-то невыспавшийся.

В этот момент я понял, что невыспавшимся он меня называл уже пятый раз за две недели, и каждый раз я с ним соглашался, потому что не мог придумать возражения.

Вечером я позвонил Лене. Она удивилась, что я звоню ей, а не в поддержку, но выслушала.

— Демонтаж возможен, — сказала она, и в трубке было слышно, как она печатает. — Но не по щелчку. По протоколу: заявление, тридцать дней наблюдения, подтверждение двух специалистов. Чип за это время адаптируется, и резкое отключение — ну, мы не любим.

— Почему тридцать дней?

— Потому что через тридцать дней вы, скорее всего, передумаете. Вы будете третьим, кто передумал, — она замялась, — за последнюю неделю.

— А первые два?

— Первые два не передумали. Им не разрешили.

— А что значит «адаптируется»?

— Это значит, что он привыкнет к вам раньше, чем вы к нему, — сказала Лена. — Так задумано.

Я хотел спросить подробнее, но она сказала, что у неё встреча, и попросила написать в поддержку.

Ночью я лежал на диване и пытался вспомнить стихотворение про мишку. То самое, единственное, которое знал. В операционной я обещал себе прочитать его дома, и не прочитал.

Я помнил, что там был мишка, что он лежал, кажется, на опилках, и что с ним что-то случилось, отчего всем стало грустно. Я подбирал строчки, как человек подбирает ключ к чужой двери, и они не подходили.

В углу зрения мягко развернулась карточка: «Возможно, вы ищете: плюшевый мишка, 40 см, гипоаллергенный наполнитель, доставка завтра, скидка 20%».

Я заказал мишку. То есть я не заказал, я смотрел на карточку, и она была очень удобная, и палец уже потянулся.

Утром я сел писать заявление. Писал долго, часа полтора, с перерывами на чай и на кухонное окно. Получилось три страницы: про когнитивную зависимость, про то, что я перестал отличать своё от предложенного, про бабушку и стёртые фрагменты, про тысячу четыреста двенадцать подсказок. Я перечитал и остался собой доволен. Такой гладкий, такой честный текст, все доводы на месте, все запятые.

И только на второй чашке чая я сообразил, что ассистент мышления выключен, а я всё равно сижу и жду, как собака у двери.

Глава 4. Синхрон-Лайт

К декабрю я понял, что проиграл, и проиграл не в чём-то важном, а по мелочам.

Началось с работы. Тридцать первого октября нам объявили, что офис переходит на «Синхрон-доступ»: турникет теперь открывается не карточкой, а мыслью о том, что ты хочешь войти. Карточки, разумеется, остались, но за ними надо было идти к администратору, а администратор уходила в отпуск, а мне, товарищи, тридцать шесть раз за месяц нужно было попасть в собственный офис.

— Это займёт девять секунд, — сказала Ирина, та самая, с бейджами. — От вас требуется настройка биометрического профиля. Все уже откалибровались, кроме вас и Гриши.

— А Гриша?

— Гриша идёт в понедельник.

В понедельник я пришёл вместе с Гришей и откалибровался. Турникет открылся, и это было приятно: не потому, что удобно, а потому что я на секунду почувствовал себя человеком, который открывает двери силой мысли. Ощущение взрослое, как первое в жизни водительское удостоверение.

Через неделю в кофейне через дорогу сломали терминал. Молодой человек за стойкой сказал, что может принять оплату мыслью, через «Синхрон». Я сказал, что у меня есть наличные. Он посмотрел на меня с той вежливой жалостью, с какой смотрят на человека, который принёс в банк банку с монетами.

— Мне придётся ждать администратора, — объяснил он. — Минут десять.

Я стоял с наличными в руке, за мной собиралась очередь, и в очереди стояли люди, которые уже заплатили мыслью, кто-то сидя, кто-то не глядя. Я почувствовал, как поднимается знакомая горячая волна, и остановил её сам, без всякой химии, усилием воли, и пошёл прочь.

Потом я стал замечать, как это происходит с другими. Это, кстати, оказалось моим главным развлечением в декабре: я смотрел на людей и понимал, кто уже внутри.

В метро сидела женщина с сумкой, набитой рецептами, и объясняла по телефону, что очередь в поликлинике двигалась сама: оказывается, там теперь запись через чип, и на приём первыми попадают те, кто записался мыслью, а потом те, у кого бумажка. Она говорила об этом не зло, скорее с уважением, как о хорошей погоде.

Таксист, которого звали Руслан, рассказал мне, что за эти два месяца заработал в полтора раза больше, потому что перестал смотреть на дорогу и смотреть на карту. Он теперь просто думал «направо», и машина думала вместе с ним.

— И как? — спросил я.

— Скучно, — честно ответил он. — Я раньше песни слушал, чтобы не уснуть. Теперь мне в голову играют песни. Только не мои. У них там плейлист.

Знаете, что было самым неприятным во всех этих историях? Никто не жаловался. Все, кого я спрашивал в декабре, говорили одно и то же: стало удобнее. Действительно стало. Я сам к тому времени заказывал мыслью пиццу, записывался к стоматологу и мгновенно понимал, что отвечает мне женщина в Афинах, которая прислала в наш чат забытый файл и обиделась, когда ей не ответили.

Мой одноклассник Дима, который двадцать лет возмущался любым приложением, в один ноябрьский вечер написал мне: «Артур, ты представляешь, я в одной руке держу ребёнка, а в другой ничего». Я не сразу понял, к чему это, и он объяснил: он разговаривал с женой в другой комнате, не выпуская ребёнка из рук. Ему казалось, что это сближает. Может, и сближало.

В статистике, которую «Синхрон» печатал каждую неделю в своём блоге, где-то к декабрю появились такие цифры. Девяносто один процент пользователей согласны, что устрой-

ство улучшает качество жизни. Восемьдесят три не смогли бы от него отказаться. И шестьдесят один, цитирую, «не помнят, как раньше справлялись».

Про последнюю цифру я хотел написать им, что это не статистика, а признание. Но не написал. Мне было лень, и у меня как раз закончился кофе.

В декабре я много читал новости про другие страны, потому что мне хотелось понять, как это происходит не у нас. Оказалось, происходит везде и всегда одинаково, только с национальным акцентом.

В Китае «Синхрон» вошёл в жизнь через проездной. Сначала чип сделали обязательным для входа на высокоскоростные поезда, потом для записи к врачу. Формально отказываться разрешалось, и у отказавшихся оставался телефон. Просто в больнице их принимали после всех. В газете, которую я читал в переводе, женщина из Чэнду объясняла, что она не против новшеств, у неё просто «пальцы уже не те». Ей поставили чип в подарок за то, что она привела двоих внуков. Она оказалась единственной, кого я во всей этой истории пожалел по-настоящему.

В Америке всё решили страховые компании. Чип с расширенным медицинским мониторингом давал скидку на полис в двенадцать процентов, а отказ означал, что тебя считают человеком, который что-то скрывает. В Техасе один адвокат подал иск, доказывая, что это принуждение. Иск рассматривали восемь месяцев. За эти восемь месяцев его собственная страховая подняла ему тариф на девять процентов, и он купил чип, о чём честно и написал в блоге: «Я проиграл не суду. Я проиграл бухгалтерии».

В Европе поступили как в Европе: сначала запретили, потом создали комиссию, потом комиссия выпустила четыреста страниц рекомендаций, из которых следовало, что запрещать нельзя, потому что тогда все уедут лечиться в Турцию. Разрешили, но с оговоркой: в чипе должна быть кнопка, которую нельзя отключить, — «право на отключение». Я читал эту формулировку четыре раза и так и не понял, что она значит. Судя по всему, не понял и законодатель.

В Японии случилось то, чего я до сих пор боюсь больше всего. Там запустили не приложение для удобства, а приложение для памяти. Называется «Синхрон-Мемориал»: оно достраивает голос человека по записям и отвечает его интонациями. В первый месяц подключились двести тысяч человек, почти все старше шестидесяти. Корреспондент спросил одну женщину, не боится ли она, что это не муж. Она ответила: «Я знаю, что это не он. Но он говорит те слова, которые говорил, и мне легче». Я после этой фразы выключил ноутбук и пошёл мыть посуду, и мыл её, кажется, минут двадцать.

В Индии чип обогнал банки. Там миллионы людей впервые получили счёт, потому что счёт пришёл вместе с чипом, а чип раздавали бесплатно: в обмен на право использовать обезличенные данные. Человек, у которого не было ни паспорта в нормальном виде, ни адреса в нормальном виде, теперь платил в лавке мыслью. В статье это называли «прыжком через поколение». Мне же казалось, что это не прыжок, а просто человек впервые получил дверь, и дверь эта открывалась только с одной стороны.

Запретили по-настоящему в одиннадцати странах. В основном маленьких, где никто особенно и не собирался производить чипы. А одна страна вынесла вопрос на референдум. Исландия. Явка была восемьдесят шесть процентов, и пятьдесят один процент проголосовал против. После этого в новостях их стали называть «последними людьми Европы», и это была не насмешка, а скорее зависть, произнесённая вслух.

А потом позвонила бабушка. Вернее, не позвонила: просто в какой-то момент я понял, что она со мной. Раньше она звонила раз в неделю, и я готовился к этому звонку, как готовятся слушать долгий рассказ про воду с балкона и участкового. Теперь она была всегда, ровным фоном, тёплым и очень спокойным. «Синхрон-Лайт», программа для пенсионеров, бесплатно в рамках пилота в Тульской области. Ей поставили ещё в ноябре.

— Мне теперь не одиноко, внучек, — сказала она. — Я тебя как в кино вижу.

Я спросил, что она видит.

— Как ты ходишь, — сказала бабушка. — Ты размахиваешь руками, когда сердишься. Я все сорок лет думала, что ты один такой, а теперь вижу: все ходят, все размахивают. Хорошая штука.

Я хотел спросить, помнит ли она тот наш ночной разговор, который у меня стёрли. Но не спросил. Во-первых, она бы не поняла. Во-вторых, я уже понял, что не могу себе позволить снова это выяснять.

— Ты бы и себе поставил, — добавила она. — Удобно же.

— Я поставил, бабушка.

— Вот и молодец. А то я тебе звоню, звоню, а ты всё в телефоне.

Я стоял на кухне, смотрел на стену и думал, что человечество не садится на иглу в один день. Оно садится по одной мелочи за раз, и каждая мелочь сама себя оправдывает: удобно, бесплатно, быстрее, а главное — все уже так делают.

И самое обидное, что я не мог привести ни одного довода, который перевесил бы, например, то, что бабушке больше не одиноко.

В январе я подал на демонтаж. Вышло это почти случайно: я стоял в очереди в поликлинике, ждал двадцать минут дольше, чем человек с мыслью, и в какой-то момент понял, что стою не в той очереди. Я перечитал табло. Очередей было две, и та, где были люди с телефоном, вела к регистратору, а та, где были люди без ничего, вела прямо в кабинет.

Заявление я писал в приложении, в разделе «Устройство», и на него ушло сорок минут. Первые три попытки система вежливо возвращала меня на шаг назад: «Уточните, пожалуйста, цель демонтажа в свободной форме». В четвёртый раз я написал: «Хочу думать сам». Форма приняла.

Через два дня меня вызвали в клинику, в тот же кабинет, где когда-то выдавали бейдж. Бейджи за это время сменились на сканер ладони, а за стойкой сидела та же Ирина, только без наушников и с должностью, которую я не запомнил. Она сказала, что теперь ведёт не выдачу, а «сопровождение обратных обращений», и что я первый за квартал, кто пришёл с этим сам.

— Протокол такой, — сказала Ирина. — Тридцать дней наблюдения. Два подтверждения от специалистов. После этого назначается дата.

— А почему тридцать дней?

— Потому что за тридцать дней вы, скорее всего, передумаете.

Я спросил про тех двоих, о которых мне говорила Лена ещё в сентябре. Ирина посмотрела в экран, потом на меня, и в её лице что-то чуть-чуть сдвинулось.

— Они в программе сопровождения, — сказала она. — Это отдельный статус.

— Это какой?

— Это когда устройство признано необходимым для жизнедеятельности. Тогда демонтаж не назначается. Совсем.

Я сказал, что мне это не грозит, потому что я живу сам, работаю, варю чайник. Ирина кивнула и записала. Она была вежлива ровно настолько, насколько нужно, чтобы человек не начал скандалить, и это было самое неприятное: с ней нельзя было поссориться, а значит, нельзя было и почувствовать себя правым.

Тридцать дней прошли без событий. Я работал, ходил в кофейню, научился не смотреть в телефон, потому что телефон стал не нужен: всё, что я хотел узнать, приходило само. На двадцать восьмой день меня посмотрел первый специалист, на двадцать девятый второй. Оба задавали одни и те же вопросы и оба записывали ответы не глядя, как люди, которые слушают не слова, а отклонение от нормы.

На тридцатый день мне сказали, что демонтаж возможен, но с условиями. Условия помещались на одну страницу. В ней было написано, что при извлечении устройства часть функ-

ций, «приобретённых за время ношения», не восстанавливается: скорость обработки, объём рабочей памяти, качество сна. И отдельной строкой: «возможна утрата навыка самостоятельной формулировки».

Я прочитал эту строку четыре раза. Мне предлагали снять устройство и остаться человеком, который не умеет формулировать. То есть предлагали вернуть меня к тому, кем я был до сентября, но почему-то это больше не считалось возвращением.

В Тулу я поехал на поезде, в начале февраля, впервые за два года. Бабушка встретила меня в дверях, стоя, хотя ей было восемьдесят четыре и ей это уже давно не рекомендовалось. В квартире пахло луком и старым деревом, на кухне работало проводное радио, из которого шёл прогноз погоды, и это радио было единственным предметом в доме, который не спрашивал у бабушки разрешения.

— Я тебя вижу, — сказала она вместо «здравствуй».

— Я тут, бабушка. Рядом.

— И тут, и тут, — сказала она и показала рукой в угол. В углу, между шкафом и телевизором, стоял я. То есть не я, а моё изображение: то же пальто, та же щетина, те же руки в карманах. Оно было чуть ярче, чем я, и стояло совершенно неподвижно.

Я сел на табуретку. Изображение осталось стоять.

— У тебя что, камера? — спросил я.

— У меня всё, — сказала бабушка с удовольствием. — Мне в ноябре поставили. Теперь я тебя вижу, когда захочу, и не надо звонить. И ты меня видишь.

— Я тебя и так вижу.

— Так это когда приехал. А теперь всегда.

Она поставила чайник, и я заметил, что она делает это медленнее, чем раньше, и что чайник ей подаёт не рука, а подсказка: она смотрит на него секунду, и он как будто сам оказывается у неё в руке. Я спросил, не устаёт ли она.

— Мне теперь не одиноко, — сказала она. — Ты не представляешь, как это много, когда тебе восемьдесят четыре и не одиноко.

Я хотел сказать про демонтаж. Я приехал за этим, честно говоря: чтобы сказать ей в лицо, что сниму устройство, и чтобы она не узнала об этом из моих сообщений. И вот я сидел на табуретке, смотрел на своё неподвижное изображение в углу и понимал, что если я сниму, то она перестанет меня видеть. Не перестанет любить. Перестанет видеть. Разница между этими вещами оказалась ровно в одну страницу условий.

— Бабушка, — сказал я. — А если бы я перестал быть в контуре?

Она посмотрела на меня поверх очков, и я увидел, что она всё поняла, как понимала всегда, и что говорить дальше не надо.

— Тогда я бы тебя ждала, — сказала она. — Я всю жизнь кого-нибудь жду. Это я умею.

В понедельник я написал Ирине, что передумал. Она ответила в течение минуты, как будто ждала: «Хорошо. Заявление закрыто. Если понадобится, обращайтесь». И приложила опрос: три вопроса, всё ли мне понятно, доволен ли я обслуживанием, порекомендую ли я клинику знакомым.

Я поставил три высших балла. Мне было проще поставить три высших балла, чем объяснять, что я недоволен не обслуживанием, а собой.

А в марте бабушка позвонила мне сама, то есть не позвонила, а просто появилась в комнате, в углу, между шкафом и телевизором, и сказала:

— Артур, я забыла, как тебя зовут.

Она сказала это спокойно, как сообщают о погоде. Я замер. Она помолчала и добавила:

— Шучу. Проверяла, слушаешь ли ты.

И засмеялась своим коротким, сухим смехом, который я помнил с детства. Я засмеялся тоже, а потом сидел на полу в коридоре и думал: теперь я никогда не смогу узнать, шутила

ли она на самом деле. Раньше человек мог соврать, и это было ложью. Теперь человек мог соврать, и это было функцией.

Дальше всё пошло быстро и скучно. В апреле «Синхрон» понадобился, чтобы записаться к врачу. В мае без него не выдавали справку в бассейн. В июне он вошёл в школы, в июле в домоуправление, в августе в проездной, и к осени я перестал замечать, в какой момент достаю его, потому что доставать было уже нечего.

Инфраструктурой это называют не тогда, когда все пользуются. Инфраструктурой это называют тогда, когда никто не помнит, как иначе. Я не помнил. Я мог назвать точную дату, когда мне поставили устройство, и не мог назвать ни одного дня, когда оно мне помешало.

Девятого сентября мне пришло письмо: «Поздравляем с годовщиной! Вы с нами 365 дней. Ваш показатель дохождения — 100%». Я прочитал его дважды и не понял, что такое дохождение. Спросил в поддержке. Мне ответили: «Это хорошо».

Глава 5. Эпоха доходяг

Меня зовут Мирон, мне девятнадцать лет, и я умею ходить. За это мне платят стипендию.

Стипендия небольшая, четыреста двадцать единиц в месяц, но она честная: я прохожу в день не меньше шести километров и каждую неделю сдаю зачёт в Центре двигательной реабилитации. Мой показатель дохождения — тысяча сто метров без остановки. Год назад было восемьсот. Врач говорит, что это выдающийся результат для сектора двенадцать и что я могу дойти до тысячи трёхсот, если перестану подниматься по лестнице бегом.

Я поднимаюсь бегом, потому что лифт в нашем доме думает сорок секунд, а я за сорок секунд успеваю дойти до третьего этажа. Когда я об этом рассказываю, люди делают лицо, с каким смотрят на фокусника: вроде и ловко, а зачем.

Живём мы в 2176 году. Войн нет уже восемьдесят лет, с тех пор как все армии сократили до отделов по чрезвычайным ситуациям. Воздух в городе такой, что его продают в бутылках для коллекционеров: на самом деле продают обычный воздух, но в красивой бутылке. Реки чистые. Лес за восточной стеной настоящий, дубовый, ему сто девяносто лет, и по нему проложены настилы с поручнями, потому что корни неровные, и ходить по земле не рекомендуется. Купаться в реке нельзя: не потому, что грязно, а потому что вода холодная, и никто уже не помнит, как это, когда холодно и ничего не происходит.

Города у нас похожи на санатории, и это не сравнение, а архитектурный проект. Всё белое, гладкое, звуки приглушены до шестидесяти децибел, шаги не слышно, потому что покрытие пружинит. В коридорах пахнет мятой и слабым раствором, которым моют поверхности. По вечерам включают свет, который называется «вечерний» и постепенно желтеет, чтобы человеку хотелось спать в правильное время. Считается, что так заботятся о здоровье. По-моему, так заботятся о том, чтобы человек не задумался, зачем ему вообще вставать.

Город разбит на сектора, по двенадцать тысяч человек в каждом. У сектора есть ядро: там столовая, сухой бассейн с тёплым песком, зал ожидания с креслами, которые принимают форму тела, и небольшой сад с растениями без запаха. Запах вывели специально, из-за аллергий. Я один раз спросил, зачем тогда сад, и мне объяснили, что зелёный цвет успокаивает зрение. Цвет успокаивает, запах раздражает, осязание вообще излишне. Такая вот ботаника.

Тротуары у нас шире, чем были проспекты в прошлом веке, и по ним почти никто не ходит. Идёшь и слышишь, как под покрытием что-то мягко пружинит, и это единственный звук, который ты производишь. По краям тротуаров стоят скамейки с подогревом. Если сидеть на скамейке больше двадцати минут, приходит сообщение: «Вам удобно? Возможно, вы устали. Капсула прибудет через минуту». Один раз я просидел сорок минут из упрямства, и мне прислали медицинского куратора. Куратор был очень вежливый и спросил, не потерял ли я смысл.

Ступенек в городе нет. Совсем. Ни одной. Всё, что выше нуля, соединено пандусами с уклоном не больше четырёх градусов, чтобы человек мог подняться, не замечая, что поднимается. Бордюров тоже нет: город плоский, как стол, и это закреплено в строительном кодексе отдельной строкой. Там написано: «Проектные решения не должны создавать порогов, ступеней и иных перепадов, требующих усилия». Иными словами, архитектура обязана быть такой, чтобы человек не заметил, что куда-то идёт.

Окна в домах не открываются. Проветривание автоматическое, воздух подаётся очищенный и слегка охлаждённый, с той же мятой. Я в детстве пытался открыть окно отвёрткой, и меня вызвали в школьный кабинет, где женщина с очень спокойным лицом спросила, что именно мне не нравится в воздухе. Я сказал, что хочу вдохнуть воздух с улицы. Она записала это в блокнот, а потом сказала, что воздух с улицы и есть этот воздух. Тогда я не нашёлся, что возразить. Сейчас нашёлся бы, но тогда мне было девять.

Птиц нет. То есть они есть, но не настоящие: по утрам включают акустический ландшафт, и в нём поют соловьи, которых никто не видел. Звук хороший, я проверял, он даже с расстановкой, с паузами. Мне объяснили, что живая птица непредсказуема и может испачкать фасад. Фасады у нас белые и за день не пачкаются вообще ничем, потому что грязи в городе нет. Мусор исчезает из квартир через специальный шкаф, и я ни разу в жизни не видел, чтобы его кто-то выносил. Куда он девается, я спрашивал в школе. Мне ответили: «В систему».

По вечерам город становится ещё тише. Включается «вечерний» свет, он желтеет постепенно, за два часа, и к десяти вечера на улицах вообще никого. Не потому, что комендантский час. Просто незачем выходить. Я один раз шёл домой в половине одиннадцатого, и меня остановила патрульная капсула: не для проверки, а чтобы предложить довезти. Я отказался. Из капсулы сказали: «Как хотите», и она уехала. Я потом долго стоял и слушал, как тихо. В секторе на двенадцать тысяч человек не было ни одного шага, кроме моего.

Памятников у нас нет. Есть таблички. На одной написано: «На этом месте до оздоровления находился рынок». Я как-то спросил, что такое рынок, и мне сказали, что это место, где люди получали вещи, тратя на это время и внимание. Слово «торговаться» в нашем языке осталось только в выражении «не торгуйся с системой», и означает оно «не спорь с очевидным».

И есть в городе одна лестница. Одна на весь город, в музее, за стеклом: семь ступеней, стёртых посередине, с поручнем из настоящего дерева. Табличка рядом: «Ступень (артефакт). Приспособление для вертикального перемещения, требовавшее от человека попеременного усилия. Выведено из эксплуатации в 2104 году». Экскурсии к ней водят два раза в неделю. Люди стоят, смотрят и говорят, что раньше было тяжело жить. Я тоже стоял и смотрел. Мне было шестнадцать, я тогда уже знал свой показатель дохождения, и мне очень хотелось потрогать седьмую ступень, но стекло не пускало.

Люди в нашем городе почти не двигаются, и это никого не удивляет. Еду приносят, вещи приносят, разговор приносят прямо в голову, и всё это делается мыслью, без всякого усилия. У взрослых гладкие ладони, потому что им нечего хватать. У детей к двенадцати годам перестают болеть колени, потому что они перестают прыгать. В поликлинике на стене висит плакат: «Движение — это нагрузка». Под плакатом сидит девушка в белом и объясняет, что нагрузка вредна для суставов.

Доходягами называют таких, как я. Слово старое, ему полторы сотни лет, и оно давно перестало быть обидным, потому что обижаться некому: доходяг в стране меньше половины процента, и с каждым годом меньше. Официально мы называемся «лица с сохранной локомоторной функцией». Неофициально — доходяги. Я, к слову, привык. Оно даже приятное, если не думать: до-хо-дя-га, как будто человек дошёл. Куда-то дошёл. Может быть, до конца.

Мне платят стипендию, потому что государству нужны данные. Я ношу на поясе датчик, он считает шаги, наклон, пульс и время восстановления. Каждое утро я отправляю отчёт, и каждое утро мне приходит ответ: «Спасибо, Мирон. Ваши показатели важны». Один раз я не отправил отчёт, потому что забыл зарядить датчик, и мне пришло сообщение: «Вы в порядке? Мы волнуемся». Я ответил, что в порядке. Мне ответили: «Отлично. Не забудьте про отчёт».

Мама у меня не доходяга. У неё третья степень двигательной оптимизации, ей пятьдесят один год, и она проходит в день сто восемьдесят метров, в основном от кровати до кресла у окна. Она добрая. Когда я прихожу, она гладит меня по руке и говорит, что я молодец, и что ей за меня платят дополнительно шестьдесят единиц, «за дочернюю гордость». Так и написано в её карточке: «дочерняя гордость, шестьдесят единиц». Я сначала злился, потом перестал. Мама на эти шестьдесят единиц покупает мне кроссовки. Она не знает, что кроссовки мне выдают бесплатно, и я не говорю, потому что не хочу её расстраивать.

В прошлом месяце меня вызвали в Управление. Я шёл туда пешком, двадцать две минуты, и пришёл раньше, чем приехала женщина, которая меня вызывала. Её зовут Вера Аркадьевна, у неё очень спокойный голос и очень ровные ногти. Она сказала, что я подаю

надежды, и предложила участвовать в программе «Нормализация». Программа бесплатная. Мне установят устройство девятого поколения, которое не требует мышечных усилий вообще: передвижение будет происходить по желанию, тело при этом останется в покое. Через полгода показатель дохождения обнулится официально, но это, объяснила Вера Аркадьевна, к лучшему: я перестану тратить силы на то, что и так делает город.

— А зачем мне тогда ноги? — спросил я.

Она улыбнулась так, как улыбаются людям, которые задают неловкие вопросы, и сказала, что это философский вопрос и что мне, конечно, никто не запрещает ходить. Просто тогда у меня не будет стипендии.

Я отказался.

Вера Аркадьевна не расстроилась. Она предупредила, что через год программу закроют, потому что доходяг становится меньше и содержать Центр реабилитации невыгодно, и тогда стипендия закончится сама. И добавила, что я могу передумать до марта.

Я вышел на улицу и пошёл домой пешком, хотя мог доехать. Прошёл четыре километра, потом ещё два, потом оказался у восточной стены, где начинаются настилы. Было тихо и очень чисто. Пахло мятой. Дуб стоял, огромный и спокойный, и по настилу ходила одна-единственная женщина в белом, потому что по настилу разрешено ходить, но обычно никто не ходит.

По дороге домой я зашёл в ядро сектора. Не потому, что хотел есть или сидеть. Просто там, у сухого бассейна, всегда кто-то есть, а домой мне не хотелось.

Сева сидел в раковине у окна. Мы с ним одного года, жили в соседних подъездах и четыре года вместе сдавали зачёт в Центре: он, я и ещё шесть человек, из которых к девятнадцати остались двое. У Севы показатель был семьсот сорок метров, у меня девятьсот, и он всегда говорил, что догонит. Полгода назад он согласился на «Нормализацию».

Раковина у него была новая, белая, с голубой полоской по краю. Сева полулежал в ней, руки на подлокотниках, голова чуть повёрнута к окну, и лицо у него было спокойное, как у человека, который наконец выспался. Он узнал меня раньше, чем я его.

— Мирон! — сказал он. — Ты ходишь.

— Хожу.

— Совсем?

— Совсем.

Он присвистнул, и раковина сделала это вместе с ним: у неё есть звук для эмоций, что-то среднее между выдохом и вежливым кашлем.

Я сел на скамейку рядом. Между нами была разница в двадцать сантиметров: я сидел, он полулежал, и глаза у нас оказались на одном уровне, как у двух людей, которые разговаривают через забор.

— Как оно? — спросил я.

— Хорошо, — сказал Сева. — Правда хорошо. Первую неделю было странно, потом прошло.

Он рассказал про спину. У него, оказывается, болела спина, все четыре года, и он никому не говорил, потому что у доходяг не принято жаловаться: если ты умеешь ходить, то не имеешь права говорить, что тебе тяжело. Теперь спина не болит. И колени не болят. И считать ничего не надо: ни шагов, ни пульса, ни времени восстановления. Датчик сняли в тот же день, и на запястье осталась белая полоска, как от часов, которые долго носили.

— Смотри, — сказал он и показал запястье. — Я её всё время трогаю. Привычка.

— А показатель?

— Обнулили. Официально ноль. Мне сначала было обидно, — он задумался на секунду, честно задумался, — дня три. А потом я посмотрел, сколько за это платят, и обида прошла.

— Сколько?

— Триста единиц. Компенсация за отказ от функции, плюс северная надбавка. И стипендию сохранили на первый год, чтобы я привык. Я привык за месяц. Месяц, Мирон. Я четыре года вставал в шесть утра, чтобы к семи быть в Центре, и всё это время мне говорили, что я подаю надежды. А теперь я встаю в девять и никому ничего не должен.

Он говорил быстро и весело, и я вдруг понял, что он счастлив. Не притворяется, не убеждает меня и не убеждает себя. Он действительно был счастлив, и это было хуже всего.

— Ты в музей ездил? — спросил он. — К лестнице?

— Давно.

— Я теперь каждую неделю езжу. — Сева засмеялся. — Представляешь? Я двенадцать лет не выходил из сектора, а теперь катаюсь куда хочу. В прошлом месяце был в четвёртом, там сад с настоящими растениями. Пахнет, говорят. Я не чувствую, у меня обоняние вывели в детстве, но люди говорят, что пахнет.

— А ходить? — спросил я.

— Что ходить?

— Не хочется?

Сева посмотрел в окно. За окном был сухой фонтан и две раковины, плывущие к столовой.

— Мне теперь не надо думать, куда ставить ногу, — сказал он. — Ты не представляешь, сколько это освобождает. Я раньше шёл и всё время думал: вот здесь неровно, здесь скользко, здесь надо притормозить. Полголовы было занято дорогой. Теперь там пусто, и я на это пустое место складываю разное. Я начал учить язык. Не тот, который в голову ставят, а настоящий, с буквами. Учу по сорок минут в день. Получается плохо, но зато это моё.

Я не нашёл, что сказать. Я сидел на скамейке и смотрел на его белые руки, которые больше ничего не держали, и думал, что мы с ним оба были доходягами, а теперь доходяга из нас один.

— А ты зачем ходишь? — спросил вдруг Сева.

— Не знаю, — сказал я. — Могу.

— Вот за это тебе и платят.

Он сказал это без всякой злобы, скорее с уважением, как говорят о человеке, который умеет делать сальто. И это было самое обидное: он не считал меня ни героем, ни дураком. Он считал меня редким.

Я встал. Он сказал:

— Мирон. Ты только не думай, что я сдался.

— Я не думаю.

— Я не сдался, — повторил Сева. — Я просто стал жить легче. Это же не одно и то же.

— Не одно, — согласился я.

Я вышел из ядра и пошёл домой. Было тихо, покрытие пружинило под ногами, и в секторе на двенадцать тысяч человек не было слышно ни одного шага, кроме моего. Я шёл и думал, что Сева прав: это действительно не одно и то же. Только я никак не мог решить, что именно из двух случилось с ним, а что со мной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.